

The background of the image is a vibrant, abstract painting. It features a mix of colors including blues, greens, yellows, and reds, creating a sense of a lively urban environment. There are silhouettes of trees and buildings, suggesting a city street scene. The overall style is expressive and artistic.

Василь Ткачев

**Под городом
Горьким**

Василь Ткачев

Под городом Горьким (сборник)

«Четыре четверти»

Ткачев В. Ю.

Под городом Горьким (сборник) / В. Ю. Ткачев — «Четыре четверти»,

ISBN 978-985-6981-75-6

Новую книгу самобытного гомельского писателя в переводе на русский язык составили лучшие рассказы из ранее вышедших книг «Тратнік» и «Снукер», которые были тепло встречены белорусским читателем. Его героям порой бывает скучно в повседневной жизни, им хочется чего-то светлого, необычного, таинственного, далекого. В народе таких людей называют «чудиками», и Василь Ткачев пишет о них с любовью и теплотой, несколько не стараясь упрекать их в поступках. Писатель умеет заинтриговать читателя, он создает динамичные сюжеты с элементами народного юмора, поэтому все его персонажи близки и хорошо понятны нам.

ISBN 978-985-6981-75-6

© Ткачев В. Ю.
© Четыре четверти

Содержание

ОН	6
ПОД ГОРОДОМ ГОРЬКИМ	10
РАБ ШМЕЛЯ	14
ПРО ВОЙНУ	18
АЙ-Я-ЯЙ!	25
ЦИВИЛИЗАЦИЯ	27
ГАННА И МАВЗОЛЕЙ	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Василь Ткачев

Под городом Горьким

Книга прозы

© Ткачев В. Ю., 2016

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2016

ОН

1

Был обычный будний день, и Он, слегка позавтракав, выходил из квартиры, на крыльце оглядывался по сторонам, словно кого-то хотел увидеть, затем поправлял старенькую шляпу на голове и шаркал по аллее к торговому центру ОМА. Что обозначали эти буквы, Он не знал, ему это, по правде говоря, и не нужно было: важно совсем другое – важно то, что там глаза разбегались от всего увиденного. Есть, есть на что посмотреть. Музей, да и все тут. Как только побывал Он здесь первый раз в конце минувшего года, так и занемог: не проживет и нескольких дней, как снова его тянет сюда точно магнитом. Неважно, что к этому загадочному и полному самых разнообразных вещей торговому центру почти все подруливают на авто, ему и так было хорошо. Каждому, думал, свое. Где ж на то авто было взять денег, коль работал честно всю жизнь, не брал никогда чужого? А как можно было на зарплату обзавестись автомобилем, Он не знал. Разве что ничего не есть, ходить в одной жилетке? Да и что тогда это будет за жизнь, голодному и оборванному? Нет, обойдется Он и без авто, и слава богу, ноги пока служат, не подводят, хоть и возраст солидный – под семьдесят.

Он входил в помещение торгового центра так, как прежде на проходную родного завода, а там – и в свой второй механосборочный цех, где работал до последнего трудового дня фрезеровщиком. На пороге торгового зала кивал головой парням, что следили за входом-выходом, те кивали ему – видать, как старому знакомому, потому что, не секрет, примелькался Он тут. Возможно, кто-то из тех парней и подозревал что-то, потому как и впрямь: разве не каждый день появляется тут этот седой и согбенный, словно прутик лозы, мужчина, но с чем входит, с тем и выходит – с пустыми руками. За ним, не секрет, начинали наблюдать... Он же, в свою очередь, подолгу топтался около образцов покрытий для пола и потолка, иной раз не выдерживал, брал их, крутил перед глазами и так, и этак: шикарная вещь, ничего не скажешь!..

Иной раз Он подходил к людям, увлеченным покупками, завидовал им, а чтобы показать, что и он тут ходит не просто так, а с определенным покупательским интересом, заводил беседу:

– И сколько, коль не секрет, надо этого кафеля для моей кухни?..

Или:

– А не прикупить ли и мне такого лимонада? – Он неумышленно произносил «лимонад» вместо «ламинат», просто последнее слово ему действительно не давалось. – Или, может, завтра что-нибудь еще лучше этого придумают? А? Подождать разве что?..

Ему обычно ничего не отвечали, и Он шел дальше вдоль рядов, где на стеллажах чего только не лежало-стояло, присматривался к покупателям. Люди как люди, а вишь ты, какие счастливые!..

А потом, вволю насмотревшись, Он той же дорогой, разгоняя шляпой ветерок перед лицом, возвращался домой...

2

Заболел бригадир полеводческой бригады, и вместо него временно был назначен Он.

– Поздравь меня, жена! – похвалился дома. – Я – бригадир! Ничего, что и на недолгий срок, но назначил сам председатель не кого-нибудь, а меня. Понимаешь? Думать надо!..

Жена понимала, поздравила. Она гордилась своим мужем, и с той поры, как узнала о его повышении, усвоила привычку, не отдавая, впрочем, себе в том отчета, напускать на себя

излишнюю строгость и откровенно стыдиться прежней личной непричастности ко всему, что происходило вокруг.

Назавтра Он по случаю повышения по колхозной службе надел выутюженный, хоть и старенький, но чистый и приличный пиджачок, натянул джинсы, ставшие тесными его городскому сыну, а к сорочке в зеленую полосочку выбрал однотонный красный галстук.

– Ну, как?

Жена показала большой палец.

Он удивил всех на правлении колхоза. На него смотрели так, словно впервые увидели. Даже сам председатель, которого, надо признаться, никто никогда при галстукке не видел, разинул рот... Посмотрите, что делается! День при должности человек, а как сразу переменялся. Не узнать. А вдруг это совсем и не Он? Так нет же... Он! Посмотрите только, какой лихорадочный блеск в глазах у человека!..

И так получилось, что пока он замещал бригадира, первым приспособил к своей тонкой шее галстук председатель, а потом незаметно и кое-кто еще. Повеселело в помещении конторы, светлее стало. От галстуков, от белых рубаш.

...Он возвращался домой усталый, с грязным от пыли и пота лицом, и когда перед ним протарахтел на колесах односельчанин, «тпрукнул» коню, и тот перестал шлепать копытами. Односельчанин подождал, пока Он приблизится к нему.

– Послушай, что я тебе скажу, – задержал односельчанин на и. о. бригадира задиристый взгляд. – А скажу, коли знать хочешь, тебе следующее... Так вот... уйми свою бабу. Угомони. Приструни. Пускай ты временно бригадир, а она – кто? Кто она, позволю спросить? Отставной козы барабанщик? Так?

– Не пойму, что ты хочешь, Петро?

– Командиров, гляжу, развелось, однако. Ну, еду себе... как и всякий раз... Протарахтел возле твоей хаты, значит... А Маруся на всю улицу кричит мне вдогонку:

– Как ты едешь, паразит? Колеса поломаешь!..

Он засмеялся, похлопал по плечу односельчанина, пообещал:

– Езжай дальше, не бери в голову. А с женой своей, бригадиршей, я обязательно разберусь. Не беспокойся. Я ей покажу, как твои личные колеса жалеть.

– Так в том-то и дело! Были б хоть колхозные!..

Но, вернувшись домой, Он ничего жене не сказал, а от души поужинал и лег спать. Засыпая, жалел, что завтра Он уже не бригадир, а жена – не бригадирша.

3

Он жил один в двухкомнатной квартире, на третьем этаже в нашем подъезде. Лично мне не доводилось встречать полковника в отставке, пусть и одинокого, но в менее габаритном жилье. Он жил скромно, с соседями держался на расстоянии, первым никогда не здоровался, а когда кто-нибудь желал ему «доброго дня», лениво кивал головой или отвечал коротко и тихо.

Я вот думаю подчас: а видел ли кто его в военной форме? Я – нет. Откуда же тогда знаю, что Он полковник? Про это мне рассказал земляк, который также живет в нашем городе и как-то столкнулся с ним лицом к лицу.

– Я служил с ним в Средней Азии, Он был моим начальником, – слушал я земляка. – Я – корреспондент дивизионной газеты, Он – начальник политического отдела, молодой полковник, большой любитель художественной литературы. Читал даже на учениях, когда выдавалась свободная минута, а чаще – в своем рабочем кабинете. И делал, заметь, это весьма хитро. Книга всегда лежала в ящике стола, и если кто-то из подчиненных заглядывал к нему, Он тянул руку навстречу, а животом тем временем закрывал ящик. Шито-крыто. Но ничто не остается незамеченным. Раскусили и начполита. Раскусить раскусили, а что ты ему сделаешь?.. Только

не про чтение мне вспомнилось, это все мелочи – чтение книг в рабочее время. Как-то вызывает он меня и приказывает: «Едем через полчаса в Теджен, собирайся и бери с собой фотокорреспондента». Теджен, где стоял учебный танковый полк, был далековато даже по меркам безлюдной пустыни – около двухсот километров. Ну едем так едем. Я быстренько собрался, на месте был и фотокорреспондент, рядовой Раджепов, туркмен по национальности, очень веселый и общительный парнишка. Приехали на «уазике» в танковый полк, начполит оставил нас одних (сами знаете, что делать, не первый день в газете) и приказал ждать его около штаба в семнадцать ноль-ноль.

Мы так и сделали: набрали материала, ждем около штаба полка. Час, другой ждем. А потом я не выдерживаю, интересуюсь у дежурного: а где же наш начальник, где полковник? Дежурный хитро усмехается: мол, чудачи вы или что? Он давно уехал... Я удивился: как это – уехал? Однако удивительного тут оказалось мало. И я, наивный в те времена лейтенант, не мог сразу смекнуть, что за чем ему мы, попутчики, свидетели, когда весь багажник был наштапигован дынями и арбузами, виноградом и рыбой, которой тут, в Каракумском канале, тьма-тьмущая! Но, извините, я и Раджепов не выписывали командировок, поэтому мне пришлось купить билет за свои деньги и солдату. Он же сделал на следующий день вид, что ничего не произошло. Ясное дело, несподручно ему было интересоваться и тем, запаслись ли мы материалом для дивизионки...

Почему сегодня Он живет один и как оказался в нашем городе, земляк не знал.

4

Он был хорошим актером. Был, потому что несколько дней назад в инете появилась строка с извещением о его смерти... Не верилось, поскольку мужчина еще в самом расцвете. Позвонил знакомому в Минск, решившись поинтересоваться, что же случилось с человеком. Тот сказал коротко, как отрезал: спился. Спился? И что, из-за нее, водки, умер? В это не хотелось верить: он же совсем не брал в рот, насколько я знал, этой отравы. Ни капли. И вдруг... Скончался от водки?

В этом провинциальном театре Он появился в начале нового сезона, сразу влился в коллектив, а вскоре почти весь репертуар висел на нем. Талант есть талант. Злые языки, правда, баяли, что в столице Он вообще не был востребован, потому что там таких мастеров сцены хоть отбавляй, а тут, видите ли, стал звездой первой величины. Не трудно было догадаться сплетникам, почему он приехал в провинцию. Тут большого ума не надо, потому что просто так сюда никто не поедет, значит, что-то не сложилось у него, не иначе, набедокурил. А, так он еще и развелся с женой? Тогда понятно... Сбежал от семьи, сбежал от проблем. Коллеги глубже копать не стали. Да мало ли таких примеров, когда провинция лечила «заблудшие души»?

Актриса Стремкина в театре работала давно, еще с той поры, когда тот был народным коллективом. Потом, когда присвоили театру статус городского, она поступила в художественную академию, училась заочно, а заодно растила вместе с мужем-бизнесменом двоих детей. И... увлеклась актером, который приехал к ним из столицы. Начался роман. Где-где, а в театре такое не утаишь, и вскоре все только и судачили про отношения Стремкиной с Ним. Одни осуждали, мол, и чего ей только надо, дом полная чаша, к тому же дети. Другие понимали Стремкину: ну, полюбила, мало ли с кем такое может быть. Пройдет. Он, к тому же, был и старше Стремкиной лет на пятнадцать. Однако позже, когда отношения между столичным актером и Стремкиной зашли далеко, и тех и других словно бы как кто ужалил. Ей, видите ли, в стольный Минск захотелось, поближе к театральной и киношной богеме.

Театр погрустил-погрустил по двум звездам, да и забыл про них: хватало своих хлопот. Он и Стремкина устроились в один из столичных театров, где также снискали славу. А потом Он запил. Ужасно. Прощай, разумеется, театр. А чуть позже и Стремкина сказала: прощай...

Она забрала детей и ушла от мужа на съемную квартиру. Так вот и окончилась их счастливая жизнь. Только мне не понятно одно: как Он мог, зная про свою слабость, от которой его спасало кодирование, не сказать Стремкиной об этом? Почему не предоставил ей выбора? Почему Он, в конце концов, сделал несчастными сразу четырех человек – ее, Стремкину, двоих детей и бывшего мужа? Переоценил себя?

Как бы там ни было, а мне жаль Его. Он был по-настоящему талантливым человеком, ибо не каждому из нас дано делать людей одновременно и счастливыми, и такими несчастными...

ПОД ГОРОДОМ ГОРЬКИМ

На этот раз Новый год Федор Коноплич решил встретить не в уютной городской квартире, как это было в течение последних лет его жизни, а в той хате, где когда-то родился. Начал собираться в неблизкую дорогу спозаранку. В вещевой мешок положил транзисторный радиоприемник, приличный шмат сала, кольцо копченой колбасы, буханку хлеба, банку шпротов, трехлитровую бутылку воды, поллитровку... Все, кажется? А может, водки маловато будет? Вдруг еще кто встретится ему в родной деревне, которая, знал, давно умерла: последнего жителя Вересневки провели на погост в начале этого века. Хотя хаты стоят. Почти в каждой – загляни в окно – увидишь заправленные кровати с пышными подушками, застеленные скатерками столы, у шестка стоит ухват, на лавке – ведро, к которому в обязательном порядке прилепилась кружка. Заходи, живи. В эту пору, наверное, они, хаты, заметены снегом, как заметены наверняка и все подходы к деревне.

Коноплич поднял вещевой мешок: легок, плечи не оттянет, поэтому решил все же взять еще и бутылку вина – на всякий случай. Для него так и одной стопки хватит, однако где-то в глубине теплилась надежда, что праздник он будет встречать не один, а на его новогодний огонек прибьется еще какая-нибудь душа...

– Все же едешь? – задержала взгляд на муже жена Мария, готовя на кухне праздничный ужин, и от лука, который на то время крошила, у нее были влажные глаза.

– Еду, – ответил кратко, но твердо.

– Ну, смотри сам. Хозяин – барин. Только не замерзни там. А я тогда, видимо, к детям пойду? А может, и одна встречу Новый год? Будет видно. Первый раз, между прочим, за тридцать пять лет мы новогодний праздник будем встречать порознь. Не кажется тебе, что это плохая примета?

– Все будет хорошо. Не волнуйся. А на следующий день я вернусь, и мы посидим за нашим праздничным столом. И детей пригласим. Прости, Мария, что так получилось. Хата – веришь? – позвала. Хата. Ей, похоже, скучно там одной... У нее, возможно, также что-то болит, как иной раз у человека... Оставили ее все мы, забыли... Когда-то нужна была она нам, очень нужна... Нам всем... Мне, Гришке, Вовке, Сашке... Но то – когда-то... Не держи обиды на меня, Мария. Хата – тоже женщина, и она попросила моего внимания... Даже, показалось, слышал ее голос... А окно... большое, то, что во двор выходит, все время смотрит на меня... Будто мама... Будто дед Яков... Будто баба Поля... Еду, еду, Мария: чувствую, нашей хате неуютно одной под холодным зимним небом... Ее что-то беспокоит, тревожит... Я должен быть сегодня с ней...

Мария понимала своего Коноплича, не задавала больше никаких вопросов, только поинтересовалась, не забыл ли он спички. Человек не курит – мог и не взять. Без спичек вечером в старенькой родительской хате нечего делать. Оказалось, волновалась женщина напрасно: и коробок спичек, и три свечи он аккуратно завернул в полотенце и положил в самый большой карман вещевого мешка. «Видишь?» Она молча кивнула: вижу. В том полотенце были и фотографии родных людей. Чтобы Мария не задавала лишних вопросов, о них Коноплич умолчал.

В автобусе, сколько и ехал, думалось обо всем понемногу, но больше о хате, к которой спешил, словно к человеку, попавшему в беду и ждущему спасения.

На шоссе в Ильиче вышел из автобуса, посмотрел в сторону леса, сразу же нашел в нем прореху: в той давней просеке, к которой сразу прикипел его взгляд, была дорога. Не забыл. Как и предполагал, на ней не имелось следов человека, и Коноплич, не теряя времени, начал торить тропку к родным местам. Здесь было недалеко: от шоссе всего два километра, однако за ночь навалило много снега, что затрудняло ход, но это были мелочи, как считал сам Коноплич, и он шагал и шагал вперед, не обращая больше ни на что внимания.

Пока шел по лесу, было безветренно, а как только оказался на пригорке, с которого его Вересневка словно на ладони, довелось уклоняться от встречного ветра. И хоть ветер обжигал лицо, особенно нос и уши, он радовался всему этому, как малый ребенок.

Он шел к своей хате! Интересно, есть ли там тот старенький патефон, сохранился он или его проглотило, запрятало в свои схроны время? Конопличу, как только вспомнил про патефон, сразу же всплыла в памяти зима пятьдесят восьмого года прошлого столетия. Был он тогда мальчуганом, жил в соседней деревне с родителями, а на каникулы прибежал на лыжах к деду Якову и бабке Поле, те всегда были рады внуку. Как раз вернулся из армии дядя Мишка, он был десантником, там встретил и полюбил девушку, за которой и собиралась экспедиция в Витебск: Новый год они должны были встретить мужем и женой. В ту экспедицию входил дядя Коля, он шофер, и лучший друг дяди Мишки – также Мишка, но, конечно, с другой фамилией – Валюшев. Тайком пробраться в экспедицию вознамерился и он, Федька. Не давал ему покоя далекий и загадочный на то время Витебск, да и на машине он так далеко никогда не ездил. А так хотелось! И до чего же додумался? Зарылся в сено, имевшееся в кузове, и на котором должен был ехать Валюшев, также зарывшись в него, чтобы не замерзнуть. Это ж хорошо, тот сразу заметил, что сено-то дышит... На этом поездка Федьки Коноплича и закончилась. В деревню он не шел, а бежал тогда как раз вот по этой дороге, но вечером, вокруг было темно, хоть глаз выколи, однако возвращаться старшие не стали: возвращаться – плохая примета, а впереди дальняя дорога, а что же касается Федьки, то он, пострел, знает все здесь тропки, не заплутает, а если глазенки будут искриться от страха, то будет знать на будущее, как позволять себе такие вот штукарства.

Тогда и действительно натерпелся он страха. Каждый куст казался волком. Но вот когда вернулась экспедиция, то Федька был в центре внимания. Собрались посмотреть на Мишкину невесту родственники и соседи, и чтобы что-то говорить, а не молчать, они, особенно когда выпили по стопке дедовой хлебной, время от времени поворачивали головы к мальчугану и высказывались: так ты что это, Федор, и в самом деле на Витебск настроился? Лыжню, так сказать, проторить решил? А кабы замерз? А? Вот и был бы праздник нам всем: не знали бы, радоваться ли нам, что вот девушка появилась в доме, или плакать, если бы что, не дай Бог, отморозил? Дело немудреное. Ну, и хорошо, что так получилось.

Приданое у невесты было невелико, люди тогда жили скромно, а вот патефон имелся. И Федьке разрешила быть главным над ним сама витебская невеста тетя Зина. Сперва показала, что и как делать, сама же опять села за стол, а он ставил пластинки. Самостоятельно! Тогда по накуренной комнате плыла такая красивая – аж дед Яков усы подкручивал, кивая головой в знак одобрения музыки, – песня: «Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет...» Федька слушал песню, был заворочен ею и старался представить тот город Горький и ту девушку, которая там живет в рабочем поселке. Та ему и представлялась – она была, как две капли воды, похожа на невесту, которую привез дядя Мишка вместе с патефоном.

– Повтори, внук, про город Горький, – просил дед Яков.

– Сейчас, только поменяю иголку, а то треск идет сильно.

– Меняй, меняй, внук. Хорошая песня, лихо ее матери! Не зря в тот Витебск съездили парни!..

Патефон – странно ведь сегодня! – открыл Федьке тогда какой-то совсем другой мир, о котором он и не думал раньше. Оказывается, есть где-то далеко город Горький, есть рабочий поселок, есть на земле люди, которые любят друг друга... Есть любовь... Это позже появится радио в каждом доме, появятся телевизоры. Дядя Мишка с тетей Зиной построят свой дом, а Конопличи вернутся назад из соседней деревни в эту хату и будут жить большой семьей. Федьке и его братьям было такое переселение даже очень удобным: не надо бежать за четыре версты, чтобы послушать пластинку. А пластинок становилось все больше и больше – кто был в городе, тот что-то старался привезти. При любом удобном случае разживались и на иголки.

Прошли годы, жизнь пролетела, как один день, и вот теперь, идя по занесенной снегом дороге в деревню, Коноплич никак не может понять, почему все так быстро получилось в ней, в этой жизни? Только, кажется, недавно впервые услышал он про тот город Горький, накурено и весело было тогда в избе, а сегодня он, лысый и грузный, совсем другой человек, который бы ни за какие деньги на сегодняшний ум не поехал зимой в холодном кузове даже в соседнее село, а не то что в Витебск за три сотни километров, будет один встречать Новый год. Разве ж тогда, в том теперь уже далеком пятьдесят восьмом году мог он обо всем этом даже подумать? Ну да и ладно, чего уж там сегодня тревожить раны: прошлое не вернешь!..

Вот, вот и она, хата.

– Здравствуй, родная! – Коноплич снял шапку, склонил голову. – Я пришел. Не ждала? Прости, что поздно. Звонил братьям, те не могут. У них жены такие, что не понимают... Хотя и сами деревенские. А моя, Мария, ты же ее помнишь, красивая такая, с ямочками на щеках, меня понимает, хотя сама и городская. Вот так, родная. Сегодня я буду с тобой. До утра. Разреши войти?

Ключ был в том самом тайнике, о котором знали все Конопличи. На Радунцу они бывают чуть ли не ежегодно в Вересневке, однако не всегда появлялись на подворье – все было некогда: то кто-то пообещал подвезти до города и очень спешил, то еще какая причина. Поэтому ключа почти не касалась рука. Замок на диво открылся сразу, однако дверь напомнила о себе – пропела свою скрипучую мелодию. В сенцах было так, как и прежде. На гвозде висела еще почти новое решето. Клеенку, которой был покрыт стол, во многих местах погрызли мыши. Под потолком болтались пучки лекарственных трав. Ступа. Боже, ступа! Толкач был прислонен к стене. Что ж, пора проходить в переднюю. Печь. Заслонка. Полати. Ведро. Посуда. В комнате все было так, как и тогда, когда жили здесь люди. Когда умерли старики, дети почти ничего не забрали – они собирались жить здесь во время отпусков, привозить детишек летом, чтобы те побегали по травке, однако мечты остались мечтами...

На полу Коноплич вдруг заметил мелкие кусочки фольги, как раз в углу, и тогда он поднял глаза на то место, где у них испокон веков находилась икона. Икона была на месте, однако она мало чем напоминала ее, икону: постарались мыши...

Коноплич сел на табуретку, перед этим смахнул с нее пыль. Он опять поднял глаза на икону... А хате сказал:

– Сейчас я понимаю, почему ты позвала меня. Понимаю, хата. Икону я возьму с собой, в город. Отдам на реставрацию. А потом сразу привезу. Оклад новый сделаем – такой, чтобы никто больше не нашел в нем и щелочки... чтобы никто больше не залез к Божьей Матери. Молодец, молодец ты, хата, что побеспокоила меня. А я сразу почувствовал – что-то здесь не так, стряслось что-то с тобой... Ну, что ж, будем готовить праздничный ужин? Будем! За работу!..

Он вымыл крышку стола, постелил белое полотенце. В граненый стакан поставил свечу. Выложил все, что было в вещевом мешке, поставил две бутылки. Затем Коноплич аккуратно прислонил к стене фотокарточки самых дорогих ему людей – мамы, отца, деда Якова, бабы Поли, дяди Мишки, тети Зины... Когда держал в руках карточку последней, сразу вспомнил про патефон, долго искал его – заглянул, кажется, куда только можно было. Оставалась последняя надежда – на чердак, однако он не решался туда лезть: высоко, а лестница совсем дряхлая. Однако все ж потом махнул рукой – решился, полез. Нашел! Патефон был тоже, как и икона, весь изгрызен, теперь он не имел прежнего привлекательного вишневого цвета, а напоминал старый обшарпанный чемодан, похожий на тот, с которым вернулся отец с войны. Когда Коноплич поднял крышку, на диске увидел знакомую пластинку. Да, да: это была та самая пластинка, от которой маленький тогда еще Коноплич узнал, что под городом Горьким в рабочем поселке подруга живет...

Вскоре патефон стоял на столе, и Коноплич накрутил пружину. Патефон работал! Хотя и не просто было разобрать слова, но не это главное – ему показалось, что песню внимательно, сосредоточенно слушают самые близкие ему люди, которые глядели на него с фотографий. Как только закончилась песня, Коноплич будто наяву услышал голос деда Якова:

– Повтори, внук, про город Горький...

Свечерело. Коноплич еще при свете дня зажег печку, теперь вот непоседливые языки ее пламени суетливо отражались на стене. Горела свеча. Вскоре в хате стало тепло, уютно, как и когда-то раньше. Хата повеселела и похорошела, также приобрела праздничное настроение и вид. Разговаривая с ней, гость наполнил шесть стопок, каждую поставил перед фотографией.

До конца этого года оставалось еще несколько минут, и Федор Коноплич, утомленный за день приятными заботами, вышел во двор. Было холодно, на небе горели звезды. Множество звезд. Уйма. И вдруг он оцепенел, застыл в изумлении: в хатах, что были рядом, на расстоянии его взгляда, брезжили огоньки. Прислушался: голосов не слышно. А только огоньки. Только они...

Он вернулся в хату, сел за стол. Вскоре заиграл гимн, Коноплич поднял наполненную стопку, приготовился сказать новогодний тост, однако растерялся и долго не мог собраться с мыслями: перед его глазами все еще колыхались трепещущие огоньки в окнах соседних хат...

РАБ ШМЕЛЯ

Антон Подканавский попросил своих домашних, чтоб ему перво-наперво принесли в больничную палату пушечку, – она лежит в самом конце выдвижного ящика стола. Там – шмель. «Поддержать его хочется, в глаза ему, окаянному, взглянуть». Сперва он, шмель, лежал в белом стареньком мамином платке, сразу впопыхах завязанном на простенький узелок – пусть и поползает там, пока не уgomонится. Извини, шмель, у тебя судьба такая... Извини...

Было это еще задолго до войны, когда Подканавский прожил на этом свете всего ничего. Потом, когда он начал курить, вспомнил о шмеле и определил его, сухого, легенького, как пушинка, но все еще по-прежнему красивого – с желтыми подпалинами под крылышками – в спичечный коробок: лежи здесь, почтенный. Еще позже, когда в деревенскую лавку завезли монпансье в жестянках, то, опорожнив их, дети звенели медью и другой мелкой монетой, а взрослые приспособили те жестянки, или, как называли их некоторые, пушечки, под самосад, нитки, иголки и пуговицы. Антон же, тогда уже начинающий колхозник, переложил в одну из них все того шмеля: а теперь полежи здесь... здесь тебе более просторно...

Пока жила мама, шмель всегда лежал в одном месте – в сундуке, где была спрессована вся, можно сказать, одежда и разные простыни-пододеяльники. Мама давно нет, неизвестно куда задевался и сундук, однако Антон Подканавский, невысокого роста и щуплый старичок, с прямым и чуть заостренным носом, хорошо помнит, как она, загнав шмеля в уголок оконной рамы, радовалась: «Держи его!.. Лови!.. Лови, шкодобу!.. Убежит!.. Ага, попался, тута-а!..» А тогда, завязав шмеля в тот белый старенький платок, счастливо улыбаясь, говорила сыну: «Запомни, Антон: если первого шмеля, что весной залетит, засушить и держать все время в доме, то счастье не обойдет тебя сторонушкой, будешь богатым и счастливым. На, сам спрячь этот узелок. Он твой...»

Тогда же, как только мальчик уснул, ему приснилось: будто попал он в шмелиное царство. Рыжевато-желтые шмели непрерывно и невыносимо громко жужжали в садах и на подворьях, тяжело, беспорядочно и бесцельно, казалось, летали, словно перегруженные собственным весом, над головами людей и домашних животных, над всей зеленой и пахнущей цветами землей. Держались шмели чрезвычайно гордо и властно, как хозяева, как самые главные: ничего и никого не боялись.

Как раз в то время над деревней появились бомбардировщики: сперва вражеские, потом – наши. Появились – и исчезли. А шмели остались. И кое-кто из сельчан подумал, что шмели эти, чтоб им погано сделалось, накликали беду. Никогда ж раньше столько много этой мелюзги не было, а здесь – как из лукошка кто насыпал, да широко размахнулся – вон их, паразитов, сколько!.. Хоть ты прикажи детворе, чтобы те половили их да уничтожили. Только справятся ли? Уйма их, уйма!..

Один только отец Авгей, нахмутив брови, сказал:

– Не мы прислали к нам шмелей, непрошенные они, потому надо их уничтожить. А то, ишь ты, перевоплотились во вражьи самолеты... Поставить на свое место надо их...

И рванула первая бомба!..

На этом месте и проснулся Антон. Однако он хорошо помнил, что проснулся после того, как угрожающе крикнул в сторону отца: «Своего шмеля я не дам уничтожить!..»

Шмеля, как и просил, Подканавскому принесли. Поставили пушечку на тумбочке, немного поговорили, да и пошли: дел, говорят, дома много. Некогда. А старик лежал на спине, нацелив глаза в потолок и собирался встать, а как сделать это – не совсем знал: в последнее время силы почти целиком оставили его, тело сделалась непослушным, перестал ходить даже в столовую. Еду приносят в палату, санитарка помогает яму приподняться, топчет за спину подушку, и Подканавский кое-как справляется с ней, с едой-то.

А сегодня ему обязательно надо встать. Воскресенье, все легко больные и городские отпросились домой, и он один в палате. К тому же принесли, не забыли, и шмеля. Самое время посудачить с ним, с глазу на глаз. Будет ли еще когда такой подходящий момент? Давай, давай, Подканавский, собери всю свою энергию, всю свою волю и страсть в кулак, стисни зубы – и на ноги, братка!.. Шмель ждет. Ты же хотел поговорить с ним, неслухом, так – пожалуйста!..

И Подканавский приподнимается, приподнимается... морщится от боли... кряхтит... стонет... выругался даже матом, хотя в этом плане он человек сдержанный... и, опершись на локоть, повернулся на бок, свесил ноги... Как ни старался, как ни приспособливался, однако стать на ноги не стал: удачно, решил, повезло, что и так получилось. Сидеть – не лежать: все же полегче разговаривать будет...

– Ну где ты, шмель? – дрожащей рукой Подканавский взял пушечку, раскрыл ее, затем дрожащими пальцами развернул бумажку, в которой был сухой – страшно подумать, как только сохранился! – шмель: без бумажки он бы, конечно, рассыпался в пыль, катаясь в своей металлической усыпальнице. – Это я, Антон. Из-под Канавы. Узнал? Не прикидывайся, что нет... Все ты знаешь, все ты помнишь... Потому как – святой... А теперь послушай меня, поговорить с тобой жажду! – Предательский ком, подступивший к горлу, спер дыхание, он никак не мог его проглотить, поэтому образовалась пауза; заодно вытер и влагу на глазах: – Так сказать!.. Что это ты, шмель, не выполнил своего предназначения, роли?.. Юлил, устранился, а?.. Нет, ты не подумай, что я целиком положился на тебя, доверился... мол, пусть оно горит все синим пламенем, пальцем не пошевелю, ибо мне шмель денег заработает и каши наготовит, примет в партию и теперь вот положит пенсию по случаю возраста, чтобы я мог не только крякнуть-кашлянуть. Если бы так! Старался жить, все соки выжимал из себя, надеясь и на тебя, конечно, а получился из всего этого круглый пшик, сказать по правде. Ты погляди, погляди на меня, на кого я похож?.. А начиналось же все так хорошо... Видать, там и ты подмог. А после не больно старался, капризничал. Что факт, то факт. Как бы там ни было, а на тебя я сильно в обиде, шмель. Спасибо-о!.. Не оправдал ты маминых надежд, напрасно она тогда поймала тебя, а я носился с коробочками-пушечками, как с писаной торбой, и всю жизнь, дай памяти, был твоим рабом. Напрасно. И в армию брал, но даже до ефрейтора не дослужился, а вот гауптвахты не избежал. Даже, когда новую открывали, так совпало, что я ленту перерезал... и сразу порог переступил, первым, а ножницы возвратил тут же... Тогда я с командиром поспорил, за казаха Шакира заступился: он его узкоглазым обозвал... и чем еще – не помню... давно было... А ты говоришь!.. Не возражай, от своих слов я не отрекаюсь, шмель... И уже, пожалуй, никогда не отрекусь: нет на то времени... не осталось...

Кто-то резко открыл дверь в палату и тут же быстренько ее притворил. Тот кто-то наверняка знал, что в комнате должен быть только один человек – больной Подканавский – и вроде ему не с кем разговаривать, а он, гляньте, раззадорился – трещит больно уж чересчур, не умолкая. А когда тот кто-то увидел в палате одного старика, ретировался и притворил дверь: с ним все понятно!.. Сидит и сам с собой ведет беседу – не может, поди, унять все разбушевавшиеся в нем страсти. В его годы бывает. Лучше не задевать!..

Подканавский же, откашлявшись и восстановив дыхание, продолжал исповедь. Далее шмелю небезынтересно было узнать про его жизнь, запутанную и непростую, и подбирал для него из множества эпизодов и фактов, что роились в голове, как раз те, которые не украшали его, тропки-дорожки были пройдены-проеханы совсем не так, как виделось и хотелось, и в тех прорехах, на думку старика, был виноват и шмель. Получай, неслух!.. А может, он просто хотел исповедаться перед шмелем, потому что более не было перед кем. А ему так хотелось этого! И, пожалуй, здесь соединились, слились воедино два желания.

– А тогда же, сразу после войны, когда с нее начали приходиться сельчане, пили за победу, и мне налили в кружку. Проглотил, и так понравилось, и так полюбил я это дело!.. Если бы я знал, что мне совсем пить нельзя... по наследственному. Гены, ити их мать!.. Так, сдается?..

С годами разобрался, что к чему. Но к тому времени много чего потерял из-за нее, холеры... В деда удался, а он тоже сопротивления алкоголю не имел... и у меня такой организм – без педалей на тормоз: попала капля в рот – еще давай, еще... пока ночь не наступит. Это трудно объяснить, как хотелось: спал и видел только водку... Ни баб, как некоторые, а водку... Она и стала моей бедой. Тем временем женился на соседке Ольге, она уже выучилась на учительницу, в Обидовичах детишек учила. Сошлись, значит, начали жить. А когда я деньги у нее украл, чтобы выпить, она обнаружила пропажу и сказала, чтобы убирался... негоже, дескать, учительнице с пьяницей жить. По тем временам – да-а, конечно!.. А уже сынок был у нас, Васька... брат мой на фронте погиб, под Ленинградом, так чтобы помнить его... в честь брата назвали... Вот так, шмель!.. А ты говоришь!.. К бабке в Зимницу меня мать сводила, после ее шушуканья пошла светлая полоса: на шофера выучился, полуторку дали... в основном солому свозил с поля и за хлебом ездил в Журавичи... и Ваську брал иной раз с собой, когда за хлебом... Он больно крошки хлебные любил подбирать, что оставались в кузове на теплой от хлеба-то бляхе. Соберет их в кучку ручонками, и в рот, и в рот... А сам смеется, ты б видел!.. Тут Ольга молодец: и со стариками моими, и со мной хорошо вела себя... как ничего и не произошло... А тогда беда у меня случилась: посадили. На семь лет. Колесо для колхозной полуторки я перекинул в тех же Журавичах, около хлебозавода, из чужой машины в свою... Да хотелось мне, чтоб имелось у меня запасное колесо!.. А что получилось? Посадили... Не пойму и сегодня, кто подтолкнул. Судили в Журавичах. Выездной был. Показательный. Ольга Ваську на суд привела, а когда меня в «воронок» вели, сынок плакал – жалел... родная же кровь, что ни говори. Так умерла последняя надежда снова сойтись с Ольгой, а я любил ее, хоть она была и с конопатым лицом... А для меня самая красивая: глаза горели, как у цыганки. И душа хорошая. Как чувствовал, так и получилось: Ольга замуж вышла – за учителя, его на мою беду прислали в школу. Без руки был, правда, но и у нее же Васька... Баланс. Из тюрьмы вернулся раньше, попал под амнистию, собирался поехать куда-либо в шахты, однако Васька не отпустил: единственное светлое пятно, что у меня имелось на то время – хоть и на расстоянии... Да хоть когда увижу его, на колени посажу... Тяжко мне было тогда, ох и тяжело!.. Завел новую семью – жить не получилось, подала на развод баба, отсудила гумно у отца... Потому я, если и женился, больше не расписывался в сельсовете. А женился, надо сказать, часто. Пока Марусю не встретил, та родила мне двух дочек и сына... Появлялись дети и у Ольги... Здесь такая катавасия, братка шмель, получилась... Ваську записали в школе на Трофимову фамилию, нового, значит, мужа... Учителя же: захотели – и записали... А когда сын школу заканчивал, восемь классов, и ему надо было выписывать свидетельство, то кинулись: он же, Васька, на моей фамилии значится... без моего согласия не могут поменять фамилию... Ему нет шестнадцати... Несмышлениш, дескать, что с него взять-то... И ко мне, значит: напиши, Антон, что не против. Так для Васьки лучше будет – ты же сидел... Проклятая водка, проклятое колесо!.. Ну, если только ради Васьки. Сдался, хоть сперва и топырился: ни за что!.. А Васька потом стал писателем, его часто по радио читают, а когда объявляют, то называют его фамилию, понятное дело, а я-то знаю, какая она у него настоящая... И хоть плачь мне, откровенно скажу... Могла б прославиться наша фамилия, Подканавские мы, а прославилась другая, и когда передают, что Васька родился в нашей деревне, то много кто, в особенности из соседних деревень, ничего не могут понять: там же, в Гуте, таких и фамилий нету будто? Откуда там взялся писатель?.. От кого он там родился?.. В капусте, что ль, нашли?.. Или, в самом деле, аист тот принес?..

Отклонился я. Извини, шмель. О детях. Я начал своих детей называть такими же именами, какими называла своих и Ольга. По ним, правда, она меня переплюнула, хоть я и больше раз женился, а все потому, что она сразу двойню дала. Ну и благодарить Богу!..

Капитала, шмель, как ты понял и знаешь, я не нажил. И как наживешь, с кнутом ходивши за колхозным, а потом и людским стадом? Эх, да что там!..

А Васька приезжал несколько раз. С женой, с сыновьями. Жена у него красивая – откуда-то с Урала, что ли. Шапка у Васьки была, как у Брежнева. Если еще и не лучше. Книгу подписал. Дал денег на вино, это я помню хорошо, такое не забывается, и так бутылку белой привез. К нему в город, правда, я никогда не выбирался: не приглашал, собственно говоря. Раз у него два отца, то уж тот пусть ездит, фамилию которого он носит. По мне так. Алименты на Ваську, во, чуть не забыл сказать тебе, шмель, с меня не брали. А с чего ж было брать, с чего, шмель, ты вот скажи мне? С трудодней? Они тогда, учителя, хорошо жили. На мое не замахивались. Хоть в одном повезло, ты слышь!.. Так вот у тебя, шмель, и спросить должен, не отлагая: где оно лежало, то богатство? Где оно было спрятано, то счастье, на которое так надеялся? Не скажешь? Молчишь, язык проглотил, да-да!..

Я же, шмель, жил и верил: завтра заживу лучше, вот увидите!.. Наступало завтра, ну и что с того? А ты говоришь!.. Слышу, утешаешь: так Васька же у тебя... на виду все время... Утюг включи – и его увидишь и услышишь... Это, может, и единственная радость... кроме той, что алименты не платил... Но и у меня же, черт побери, должна была быть, если верить матери, своя, личная жизнь!.. Богатая и счастливая! Тьфу-у!..

Не получилась.

Хотел я упрекнуть тебя, шмель, отчихвостить по первое число, но испустил, как видишь, дух.

И здесь не получилось...

Хотя понимаю, отчего же: был бы у меня не мягкий, не такой доверчивый характер, тогда бы, может, и ты мне подмог, шмель... Ошибаюсь, скажи?.. А ты говоришь!..

* * *

Через неделю Антон Подканавский отошел в мир иной. На деревенском кладбище людей было не густо, похоронили его тихо, без речей. Кое-кто всплакнул. Кто-то полушепотом припомнил, что покойник со всеми, кому был должен, рассчитался. До копейки. Из всех его детей не было только Василия – ему даже не сообщили: посчитали, что отец тот, кто кормил и поил. Не заслужил, дескать, Антон.

Когда деревенские могильщики взяли прислоненную к березе крышку, чтобы закрыть гроб, подала, встрепенувшись, голос соседка Петушиха:

– Подождите! Я ж забыла!.. Вылетело!.. И как же я?!..

И она достала из кармана кофты пушечку, впопыхах засунула ее в карман покойнику, и, стоя у гроба, перекрестила его тремя пальцами:

– Прости, сосед!.. – а потом старушка окинула быстрым взглядом земляков, тихо сказала: – Просил, когда умирал... Может, хоть там ему повезет, Антону Авгеичу?..

ПРО ВОЙНУ

1

Нет, я тогда даже не ходил еще в школу, когда в нашей Искани сделали братскую могилу – как и надлежит, с памятником солдату, который крепко сжимал в руке автомат. Я, похоже, был еще в то время совсем несмышлеником: не помню вовсе даже того дня. Помню только, что памятник тот появился перед моими глазами как-то сразу, неожиданно, не было не было его, и вдруг – вот он перед тобой: смотри, малыш, это – солдат. Почему он такой большой и суровый – узнаешь позже. Это теперь я понимаю, что в жизни человека настает тот момент, когда он что-то всегда познает и запоминает впервые.

Ходил, конечно, у того памятника я и раньше, когда, наверное, мама водила меня еще за руку, а может, я сам держался за ее подол. Хотя памятник и был, но я не видел его – не видел так, как надо было видеть: не дорос. Всему, действительно, свое время. А уже когда был школьником, мы ежегодно приходили к памятнику в День Победы, кто-то из ветеранов обязательно рассказывал про войну, а мы читали стихотворения – также про войну. Доверили и мне однажды прочесть на память стихотворение, однако я сплеховал, не дочитал его до конца: расплакался. Меня успокоила учительница Ольга Кондратьевна и вытерла своим носовым платком мои слезы. Я дал себе слово никогда не пускать слезу, если буду читать стихотворение на следующий год, но мне не дали его больше ни на следующий год, ни позже. Были у нас чтецы, которые не плакали. Они и декламировали. Пускай. А я тем временем, пока они рассказывали, читал фамилии солдат, выбитые на памятнике, и мне так их было жалко, что я плакал еще крепче, но все смотрели на того, кто читал стихотворение, и меня не замечали. Это и хорошо, что не замечали: нечего выставлять слезы напоказ.

Памятник хорошо был виден из окна нашего дома, и я иногда подолгу смотрел на солдата. И хотя он отвернулся от меня и я видел только его широкую спину, все равно видел его глаза, и так жалел, что смотрит он вниз, себе под ноги, а мне очень хотелось, чтобы оглянулся он на нашу новую школу, на наш дом, который построили мои родители взамен того, который сгорел в войну. Да много чего мог бы увидеть солдат, если бы повернулся: и ферму, и мельницу, и кузницу...

«Он, сынок, все видит, не переживай, – утешала меня мама, когда я сказал ей о том, что беспокоило.

Хотя я и не понимал, как он видит, если стоит спиной ко всему, но соглашался с мамой: мамы все знают. Да и не только мамы – папы тоже, а послушав моего, то без него и совсем не было бы братской могилы. Не раз и не два рассказывал он мне, когда немного подрос, как они, сельчане, собирали кости где только можно было и свозили на пригорок, где должна была быть братская могила. За деревню был тяжелый бой, много полегло солдат, и сами же солдаты хоронили тех, кто погиб. У них, оказывается, была своя похоронная команда. Но где там было им тогда глубоко рыть ямы-могилы, и когда прошло время, дожди и весенние воды кое-где размыли захоронения.

– У нас тогда спор вышел, – вспоминал отец, – по такому вопросу. Попадались и лошадиные кости, их свозили вместе... И хотели также зарыть с солдатскими: дескать, и они же, лошади, воевали, как и люди... Пусть рядом спят люди и лошади. Чуть, было, не подрались. Но победили те, кто был только за солдат. Лошадиные кости похоронили отдельно, за деревней. Правильно, конечно, сделали. А ты как думаешь?

Я тогда, видать, только пожалел, что погибшим лошадам не ставят памятников... Или, может, они где-то и есть?..

2

– Ховошка и Наталья идут уже к своим хлопцам, – мама посмотрела в окно и увидела на дороге, тянувшейся под горку, женщин, которые с узелками неторопливо поднимались к памятнику. На свидание. Нешто сегодня раньше, чем всегда? Они каждый год на девятое мая приходят. Утром, перед школьниками...

Я приехал из города, где сегодня живу и работаю, и мама угощает меня картофельными оладьями – драниками. Уже прошло много времени с того дня, когда я читал первый и последний раз стихотворение у памятника. Памятника из окна уже давно не видать, его укрыли деревья. Умер папа. Про войну он мне ничего так толком и не рассказал, хотя я и просил его: он, похоже, был такой же плакса, как и я, а только как-то признался, что ему, когда вернулся домой, было стыдно ходить по деревне: из всех его одногодков один он остался жив, и поэтому ему казалось, будто матери и вдовы смотрят ему всегда вслед с укоризной, с осуждением: «Как же так?! наших нет, а он, гляньте, прогуливается! Не иначе, в кустах где-то прятался?» А может, отец ошибался? Скорее всего, так. Хотя люди, конечно, завидовали моей маме: без мужчины после войны ой как тяжело, ой как горестно было женщинам в деревне!..

Я также посмотрел в окно, Ховошка (она любила, когда ее так называли; в детстве картавила: я ховошая?) и Наталья были уже у памятника. Так стояли они и тогда, когда я, совсем еще пацан, проскользнул вслед за ними к памятнику, спрятался в кустах сирени, сидел и не дышал: мне хотелось знать, что будут делать там женщины. Они же разложили на платке еду, запомнил только, что были там красные яйца, сели перед платком на траву, налили в стопки понемногу самогона из какой-то, не иначе, трофейной зелено-синей бутылки: две для себя, две – для своих мужей, которые не пришли с войны. Подняли свои стопки.

– За вас, хлопчики, – сказала Ховошка. – Слышите вы там нас хотя или нет?

– Конечно, слышат, – более уверенно промолвила Наталья. – Как это не слышат? Слышат, они обязательно слышат нас, девка!..

Ховошка ничего не ответила, а продолжала говорить дальше:

– Пришли вот мы с Натальей вас навестить. Заодно и поговорить, о своей жизни рассказать.

– А может, о нашей жизни не надо? Пускай спят они спокойно там... под звездочкой, – нахмурилась Наталья.

Ховошка на этот раз не согласилась:

– А кому же нам еще рассказать, если не им? Да и зачем тогда притопали сюда? Слезы свои показать разве что?.. Зачем им наши слезы?..

Наталья ничего не ответила, лишь надкусив губу, отвернулась, а сама, похоже, с трудом сдерживала себя – не расплакаться бы. А потом, вздохнув, прошептала:

– Живем мы хорошо...

– Да-да... – эти слова Натальи понравились Ховошке, она закивала головой, подбив прядку седых волос под черный платок. – Живем мы хорошо. Вот и Наталья подтверждает...

– Подтверждаю. А как же.

– В этом году разжились на кабанчиков, я и Наталья. Без жиров тяжело, одна бульба в рот не лезет. Если б еще коровка была, то и вовсе горя бы не знали. Нам бы хоть одну на двоих...

– Скажи, скажи моему, что Василек уже прошлым летом трудодни зарабатывал в колхозе... коня водил на окучке, – попросила Наталья.

Ховошка надулась:

– А сама разве не можешь? «Скажи, Ховошка, попроси, Ховошка». Я помолчу, говори ты.

Наталья не сразу решилась, но уже когда набралась смелости, решительности, сказала громко и гордо:

– Микола, а Василек наш коня, коня водит, хлеб зарабатывает!..

И расплакалась. Ховошка начала ее успокаивать, но потом, махнув рукой, продолжала далее:

– Жито в этом году кустится хорошо, стебли должны быть толстые, то найму людей, пускай хату перекроют. Печь еще та, что при тебе сделана была, Петро. А что с ней, печкой, станет? На нее не капает, течет только та крыша, со двора которая. Сыночка нашего назвала Петькой, в честь тебя...

– Ты ему уже об этом говорила сто раз, – заметила, но не с упреком, Наталья. – У меня уже рука закаменела стопку держать. Давай, скажи что-нибудь, да выпить пора. Заждались ведь они, соколики...

– Скажу. Как не сказать? За вас, парни. Чтобы мягкой была вам чужая земля.

Женщины выпили, помолчали.

– Ты, Наталья, как шилом в одно место...

– Чего-чего?

– Перебила меня, я ж не сказала, что Петька не сопляк какой – учится уже в третьем классе, – тихо промолвила Ховошка. – В третьем... Тот раз говорила, что во втором... Сколь время прошло, а!..

– Ну если только так... Уточнение серьезное...

– Не повезло нам, девка: без мужиков остались.

– Да, да. Без них, – вздохнула Наталья и прослезилась. – А так все хорошо начиналось. Ой, чего ж это мы?! – Вдруг она встрепенулась. – Не говори больше про мужиков – ну их!.. А вдруг услышат... наши, а?..

– Наши не услышат. Э-хе-хе-хе... Ни чужих, ни своих... А надо как-то карабкаться... жить. Хочется жить...

– Иной раз, тебе признаюсь, я Николашкину сорочку нюхаю, она его потом пахнет. Густо так вся пахнет. Терпко. Не постирала тогда, сразу, так и лежит, как будто бы только снял с себя. Хорошо, что не дотронулась до нее тогда, как на войну забирали. Все руки не доходили. И хорошо.

– Тогда все валилось из рук, – поддержала Наталью Ховошка, огляделась по сторонам. – Ну что, девка, не пора ли нам? А то вон – слышишь? – школьники в горн дуют и барабанят... Скоря будут... Убрать надо скатерку... Да постоим, послушаем школьников... Там и Петька мой...

– И мой Васенька прифрантился в новые штаны и сандалеты... Сам на себя заработал... Давай, давай, девка, прибирать... Заткни бутылку, заткни, чтобы не вылилась смола та. Может, Митрофан с гармонью придет, как тот раз, составит нам компанию. Тогда опять посидим после ребятни, песни попоем для своих соколиков...

Когда подрос, мне было стыдно, что я сидел в кустах и подслушивал солдатских вдов. А тогда я просто радовался, что слышал еще что-то про войну... Слушал и радовался... Ну не постреленок ли!

3

На школьном дворе было многолюдно. Девочки старших классов рвали цветы на клумбах, делали букеты и вручали их каждому желающему. Желающих нашлось много. Иван Иванович, директор школы, больше занимался тем, что не отпускал от себя руководителя группы пионеров, приехавших на праздник из Эстонии: здесь, в братской могиле, покоится их земляк. Приехали они вчера, засветло, поэтому успели познакомиться с деревней, побывали и у

памятника, а ночевали по домам: желающих принять «иностранцев» нашлось немало. Однако на второй день поползли слухи, что эта приезжая малышня ведет себя высокомерно, брезгует едой, фыркает, не нравится им даже постельное белье; хотя белье как белье, еда как еда.

Однако на школьном дворе было не до гостей, каждый занимался своим делом. Учитель истории и создатель музея боевой славы Николай Кириллович показывал место каждому классу, где тот должен стоять, интересовался, все ли, кому надо выступать, готовы. Убедился: все. Чуть в сторонке от школят стоял, ссутулившись, Митрофан с гармонью, ему как раз от дома ближе через школьный двор к памятнику, поэтому задержался, решил понаблюдать за жизнью. А тут и команда: «На пра – ву! Шагом – арш!..» Команду подал историк, он был за главного на прохождении, а директор и гость из Эстонии пошли к братской могиле чуть впереди, неся в руках цветы. За ними – горнист и барабанщик, а там и все.

Николай Кириллович где отставал от колонны, где ускорялся и подбегал, – следил, одним словом, чтобы колонна не растянулась, хотя колонной назвать учеников этой небольшой, умирающей школки, которых собрал в это шествие историк, можно было только с большой натяжкой: в классе осталось по семь-восемь человек, однако все мальчики и девочки шагали к братской могиле с большой гордостью, с ощущением своей значимой причастности к этому празднику, к которому готовились они не один день.

– Поднятутся-я! – попросил голосом ротного старшины историк, и когда дети кое-как выполнили эту команду, подобрали ногу, то было видно, что Митрофан со своей неразлучной гармошкой заметно поотстал...

Однако он старался, как мог, топтать вслед за всеми в стареньких, разношенных донельзя кирзовых сапогах.

4

Топот детских ног был далеко слышен. Колонна шла под звуки горна и мелкую дробь барабана.

– Уже близко, – подняла голову в сторону дороги, которая вела от школы, Ховошка. – Где это нам, девка, тут стать так, чтобы никому не мешать? Чтобы не путаться под ногами... Давай выйдем за оградку, а?

– Ага. Давай. Услышим, что будут говорить. Не глухие.

Вскоре колонна была уже около памятника, не заставил себя долго ждать и Митрофан, он стал рядом с Ховошкой и Натальей, поздоровался, а потом, как бы невзначай, одним глазом заглянул в матерчатую сумку, которую держала Наталья: там заметил горлышко бутылки, удовлетворенно крикнул и попросил тех не расходиться после всего. Хотя о том же самом его намеревались попросить и вдовы. Желания совпали, и они, присмирив, начали следить, что делается у памятника. Хорошенько рассмотрели гостя из Эстонии: обычный мужик, разве что белоголовый, имеет даже и белые усы. Таких сильно белых у нас нет. А когда его представили и дали слово, то он начал говорить с большим акцентом.

– Не шевелись, а то не разберешь, что он говорит, – попросила Наталью Ховошка.

– Какая-то мелюзга за ногу укусила... Вон, гадость!.. Вон!..

– Терпи. Не то терпели.

А гость из Эстонии, хотя и с акцентом, говорил трогательно; он похвалил сельчан, что те хорошо, бережно досматривают братскую могилу, в которой нашел вечный покой и их земляк, затем приглашал в гости. В ответ выступил Иван Иванович, поблагодарил, что приехали они из далекой республики, что помнят своего земляка. От местных ветеранов слова держал Михаил Севченко, тот каждый раз, выступая перед детьми в школе или здесь, у братской могилы, обязательно рассказывает, как он, совсем еще юный солдат, попал в окружение, долго пробиравшись к своим или, в крайнем случае, к партизанам, а, подчеркивал это он особенно, когда

перед самым носом появлялись нежданно-негаданно фрицы, то приходилось по несколько часов тогда сидеть в болоте по самое горло, да в рыжей и вонючей воде, а на голове были обычные срезанные лопатками купины: так маскировались. Не шевельнуться. Не кашлянуть...

Иван Иванович посмотрел на людей, а их собралась уже довольно много, отыскал взглядом Митрофана, подал знак рукой, чтобы тот подошел к нему. Гармонист послушался.

– Товарищи! – Иван Иванович выдержал паузу, как бы подбирая слова. – Все вы знаете нашего Митрофана Демьяновича, отличного гармониста, чудесного человека. В войну он был совсем мальчуганом, только-только поехал в город учиться в ремесленное училище... на сварщика... Да, Митрофан Демьянович? На сварщика?

Митрофан кивнул.

– А там его застала война. На фронт не берут – возраст не тот, надо подрасти чуток. И по дороге в свою деревню парня поймали немцы. Так он оказался в концлагере...

– Извините, Иван Иванович, я не в концлагере был, я работал на руднике, – поспешил поправить директора Митрофан.

Стало как-то совсем тихо, даже можно было услышать ту мелюзгу, что гудела – звенела на всю мощь, которая, видать, и причиняла минутами раньше Наталье лишнюю заботу.

– Вы про войну расскажите нам, Митрофан Демьянович, – наконец-то нашелся директор школы.

Митрофан, как показалось, совсем растерялся. Да, да, не ослышался. Ему – про войну? Нет, никогда. Он же не видел войны. О чем же рассказывать, когда не о чем? Зачем же хвастаться тем, чего не было? Наплести, конечно, можно бочку арестантов, как некоторые делали, но где же тогда совесть? Нет, нет, не в его характере такое, и не просите, люди хорошие!..

Набравшись мужества, так и ответил директору:

– Я же не был на войне... Простите... Извините... Если что не так...

Как и минутой раньше Митрофан, растерялся сам директор. Он посмотрел сперва на людей, и те не могли не заметить, что почувствовал себя Иван Иванович неловко, однако потом быстро нашелся и просто попросил Митрофана исполнить для всех фронтовую мелодию. На выбор. Услышав эту просьбу, Митрофан слегка улыбнулся, и вскоре пальцы побежали по пуговицам гармошки... Он играл и пел:

– Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета,
Ты спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне.

И незаметно Митрофану начали подпевать. Сперва директор, потом гость из Эстонии, историк, колхозники, школьники...

Ховошка легонько, словно развлекаясь, ткнула пальцем в Наталью, а когда та глянула на нее, сказала серьезно и требовательно: – А ты чего? Не отставай!.. Над деревней плыла песня:

Приеду весною,
Ворота открою,
Я с тобой, ты со мною
Неразлучны навек,
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,

Я вернусь, когда растает снег!..

То ли от того, что женщины перед этим выпили по капле, то ли по какой другой причине, но их голоса выделялись в этом стихийно образовавшемся людском хоре... Даже Митрофан придержал свой баритон: бежите, бежите вперед, девки, пускай знают все, что вы есть, что живете, что не покорились всем невзгодам и напастям... Я уже за вами как-нибудь. Так и быть.

5

У памятника вскоре стало тихо. Праздник покатился в сторону школы. Дети, расчувствовавшись от увиденного и услышанного, расслабились, начали дурачиться: конечно, им хотелось показать гостям из Эстонии, что они дома герои, а не лишь бы кто. Им никто и не делал замечаний. Пускай позабавятся, пускай побузят. Сегодня можно. Сегодня такой день, когда, говорят, и генералы толкаются. Беспорядочно кто-то стучал палочками по барабану, а в горн также хотелось подуть каждому, поэтому сюда, к памятнику, доносилась какая-то бессмыслица.

Для гостя из Эстонии праздничный стол накрыла жена Ивана Ивановича, их домик на территории школы, туда же пригласили и историка Николая Кирилловича, но он сослался на то, что пока не может, надо проследить, чтобы в школьной столовой дети были накормлены и напоены. «Я быстро! Пока вы тут то да это, и появлюсь. На меня глядите». Иван Иванович удивился: «Разве там некому проследить?» – «А, и правда!»

У памятника остались Ховошка, Наталья и Митрофан. Женщины опять разложили на скатерке еду, поставили в центр початую бутылку водки – это раньше, когда были помоложе, приносили они сюда самогон, сейчас этим не занимаются: есть, слава Богу, за что купить и с заводской этикеткой. Митрофан косо посмотрел на центр скатерки, как бы между прочим спросил:

– И сколько уже лет вы сюда приходите, бабы?

Ховошка и не припоминала:

– А мне кажется, что я тут и живу. Про Наталью не скажу. Наталья, а ты?

– Каждый год приходим. Ты ли не знаешь, Митрофан? – наполняя стопки, ответила и Наталья.

Митрофан вздохнул:

– Вам, бабы, памятник также надо поставить. За верность.

Возникла неловкая пауза, и ее наконец-то постаралась заполнить Ховошка:

– Не надо нам памятник, Митрофан. Господь с тобой. Где на всех памятников тех наберешься? А вот если бы мужчина подвернулся подходящий, и вышла бы. Кривить душой не стану. Хотелось мужика. Все время хотелось... Только не было за кого уцепиться. Да и ты вот на гармошке одно знай пуговицы перебираешь, а более ничего не замечаешь... Да и что уж теперь? Теперь уже поздно. Поезд ушел. Хотя поговорить можно бы, и то веселее. Особенно зимой. С котом всю жизнь и протолковала. С коровкой. Теперь вот с козой... Так и живу.

– Давайте выпьем, – подняла свою стопку Наталья.

Митрофан подал стопку Ховошке, которая как-то поодаль от «стола» устроилась на зеленой траве, затем взял свою стопку, тихо произнес:

– За ваших мужиков, бабы. За всех, кто спит в этой братской могиле. И в других тоже... За всех!..

Выпили. Начали закусывать, и Митрофан вдруг заплакал. Женщины это заметили, удивленно переглянулись. Что это с ним? Мужчина украдкой смахнул слезу, сам, кажется, не замечая того, потом вспомнил свои прямые обязанности и потянулся за бутылкой, наполнил свою стопку, долил женщинам, которые почти не дотронулись до водки, поднял стопку, показывая

всем своим видом: давайте, женщины, молча выпьем, хватит слов, сколько их было слов тех, а пользы! Если бы они, слова те, да сбывались!.. Не встанут... Не поднимутся... Не вернутся... Хоть кричи, хоть плачь... Хоть что!..

На глазах Митрофана опять заблестели слезы.

– Митрофан, с чего бы?.. – Ховошка на этот раз показала удивленным взглядом на его лицо.

Нет, не все, не все женщины все знают про войну.

6

Митрофану Неметчина вспоминается как главное событие в его жизни. Особенно часто приходит она в сны, и он радуется, если просыпается среди ночи, что сон наконец-то оборвался, хоть и понимает, что больше до утра не уснет. А сам потом ворочается с боку на бок в кровати, на спине он совсем спать не может: после рудника ослабли легкие, на спине задыхается.

И вот сейчас, у памятника, Ховошка зацепила то, чего он более всего боялся на свете, хотя и догадывался, хотя и понимал, что люди не дураки, все знают, почему он так и не женился, прожил, почитай, век бобылем. Тем более гармонист, тем более – высок и широк в плечах, да и на лицо красивый человек.

Лет несколько назад к нему приезжал из соседней деревушки его возраста мужчина, как его звать-величать никто не интересовался, а Митрофан знал его давно – с Неметчины, когда они вместе горбатились на том проклятом руднике. Он также не был женат, и после того, как поделились они тем, что волновало и беспокоило обоих, решили съездить в столицу к врачам, узнать, почему они хуже других мужчин? Съездили, и узнали. Теперь часто Митрофан вспоминает тот высокий стол, за которым он стоял и писал по приказу надзирателей свою автобиографию. Такие автобиографии, говорят, писали и девушки. А за стеной был установлен рентген и его луч убивал тем временем в этих юных людях отцов и матерей...

Очень жалел Митрофан, да и сейчас жалеет, чего уж тут, что ему не хватило какого-то года, чтобы попасть на войну. Выжил бы, он сказал бы тогда свое слово про войну, выполнил бы просьбу Ивана Ивановича. Не выжил – сказали бы тогда о нем что-то другие...

7

Как давно и недавно было все это! Я снова приехал в свою деревню на 9 мая. Положил цветы на погост – папе и маме. Из окна своей хаты, как и раньше, долго глядел на братскую могилу: к ней никто не шел. Нет уже на этом свете ни Ховошки, ни Натальи, ни Митрофана. Умерли Иван Иванович и Николай Кириллович. Нет и школы. Несколько учеников возят в соседнее село, там средняя школа. Наша восьмилетка сгорела в котельной той, средней.

Будь жива мама, она бы мне обязательно сказала: «Сходи, сынок, к братской могиле... Прибери там... Поклонись... Где-то же и наш дядя Федор покоится... Сходи, посмотри, как там...»

Я пошел и на этот раз. Взял метелку, грабли, и пошел... А потом ко мне подошел мальчик, тоже с граблями, молча начал грести в волок прошлогоднее перепревшее листья, а позже появился второй мальчуган, третий, прибежали девочки, притопали также с каким-то рабочим инструментом две старушки, которых я, простите, не знал: может, приезжие будут, «чернобыльцы».

Они, видать, также слышали своих матерей, эти люди.

И живых, и мертвых...

АЙ-Я-ЯЙ!

Когда еще так волновался сорокалетний механизатор Сергей Хомичка, как было в ту, последнюю, его поездку в столицу, – и сам не вспомнит. Это если бы ехал человек прогуляться, тогда другое дело: смотри-поглядывай себе спокойно в окно из вагона поезда, а в городе, прежде чем пройти по шумной улице вдоль домов-громадин, на людей посмотреть и себя показать, можно и бокал пива опорожнить. Пиво – вещь такая, что не повредит: от него, холера, и настроение поднимется, как ртуть в градуснике, оно и жажду утолит. Польза определенная есть. Минус только в том, что не долго держится то пиво, что-то больно уж оно быстро наружу хочет, на свободу. А город – не деревня, здесь людно, глаз много: так и следят за каждым твоим шагом – пронзят насквозь, только не то сделай... Бокал – да, можно, один вреда не наделает, быстро затеряется, уймется.

А тогда ехал он не гульбище ладить – в больницу, вез снимки с рентгена и описание болезни к самому профессору на консультацию. И вот надо было думать, куда сначала податься: или по своему делу топать, или отнести сразу поклажу в ту академию, где учиться на скульптора сосед Толик. Нормальный человек в первую очередь свои дела решает, а тогда уже – чужие. Но как здесь быть, если мать его, Петровна, наперла в сумку не иначе как камней: отрывает руку поклажа. Надо все же как-то избавиться от сумки – так решил Сергей Хомичка, иначе она все силы отнимет, с ней много не походишь.

И он спустился в метро. Дорогу знал – не первый раз. Пока ехал, успел порассуждать насчет Петровны: «Говорил же ей, чтобы передала, если уж так жалеет своего студента-басурмана, пачку денег, так не послушалась. Тогда и мне бы хорошо было, и ему, наверное. Пошел в столовку, отвел душу там, когда есть за что. Только ведь самой Петровне не тянуть сумку ту... Да что говорить: лишь бы с рук, а там будь что будет. Хоть женщина и призналась, что если деньги ему дашь, то прогуляет, а вот если кусок сала будет в сетке за окном, то голодать не придется. Может, и ее правда? Если же разобраться, так поймешь и мать – теперь для молодых соблазнов навывдумывали сверх меры... А сало, как в том анекдоте, и в Африке сало...»

Где занимается сосед Толик, узнал быстро: дежурная, оказывается, хорошо его знает, поэтому сразу сказала, куда надо идти. В мастерскую. Там практические занятия. «Лепят фигуры». Ну лепят так лепят. Остановился перед дверью, постучал. Тихо. Хотя там, определил, идет жизнь – было слышно, если затаить дыхание, как там переговариваются, шаркают подошвами, слегка постукивают. Опять постучал, а когда не получил разрешение войти, легонько толкнул дверь от себя – та послушалась и открыла ему, Сергею Хомичке, словно на ладони, весь вид той мастерской, где «лепят фигуры». Это позже он встретится лицом к лицу с соседом Толиком, однако сперва гость столицы увидел перед собой голую – в чем мать родила – девушку, которая стояла перед соседом, держа на бедрах руки, широко отставив локти, а голову чуть отбросив назад: лепи фигуру, скульптор! Даже когда Сергей Хомичка воскликнул от удивления: «Ай-я-яй!» – она, та девушка, не обратила на него никакого внимания. Стояла, как каменная, уже готовая скульптура. Но нет, однако – маленько шевельнулась, повела глазами: живая, ити ее мать! Нельзя сказать, чтобы Сергей Хомичка совсем растерялся, но почувствовал себя не в своей тарелке – впервые он попал в такую ситуацию. Сконфузился слегка. Так близко он никогда – а прожил, слава Богу, немало на этом свете – не видел обнаженной женщины. На картинках и по телевизору не считается. Сразу же на месте той представил свою Ольгу, к примеру, в том же предбаннике, и увидел: она испуганно зарделась вся, засуетилась, начала прятать наготу даже от мужа, прикрываясь всем, что попадалось под руки – шайкой, веником и растопыренными пальцами. Обязательно бы набросилась: «Ты что – ослеп? Не видишь, куда прешься?» А эта, городская – хоть бы что: позирует Толику как ни в чем не бывало, а тот и старается, вишь ты его, глиной или чем там шлепать.

– А, это вы, дядька Сергей, – наконец-то удостоверил его вниманием сосед, шагнул навстречу, вытирая тряпкой руки. – А мы вот... ага... работаем... Лепим!

Сергей Хомичка хотел сказать: «Да вижу, вижу, чем ты здесь занимаешься», но вместо этого опять повторил: «Ай-я-яй!» А сам переметнул взгляд на девушку. Та расслабилась, села, положив ногу на ногу, закурила, и что-то говорила весело и озорно другим студентам, которых здесь, в мастерской, было еще несколько.

– Кто это? – когда вышли в коридор, кивнул на двери Сергей Хомичка.

– Натурщица, – спокойно, как ни в чем не бывало, ответил Толик.

– Мать ее знает, чем она тут... у вас?..

– Она у нас подрабатывает.

– Что, за это, что топчется перед вами, грудями трясет и всем остальным, ей еще и платят? – не поверил гость.

– Конечно. И неплохо. Каждый зарабатывает хлеб как может.

– Да оно так-то... ага... однако же... – развел руками Сергей. – Бери вот, что мать передала. Подкрепляйся. Тебе, я вижу, надо есть много: работа тяжелая. А то штаны тут, в своей академии, потеряешь. Да на сало, на сало нажимай, студент!..

Толик улыбнулся уголками губ, но ничего не сказал. Только лишь когда проводил соседа к выходу, поблагодарил и попросил, чтобы мать ничего более ему не передавала, якобы подвернулась на городском кладбище халтурка, и у него должны быть деньги.

Сколько и ехал назад в деревню Сергей Хомичка, из головы не выходила та встреча в мастерской с обнаженной девушкой. Даже про хворь свою забыл – гнали мысли ее прочь, а на первый план выплывало, хочешь того или нет, внезапно увиденное в академии. Он прокручивал ситуацию и так и этак, но не смог бы, наверное поверить, что такое может быть, если бы от кого услышал, а не увидел все своими глазами. Нет, никогда бы не поверил. Ни за что. Хоть убей. Не поверили ему и мужики возле деревенской лавки, с которыми поделился увиденным, когда те травили там байки.

– Да что ты врешь, Сергей!

– Что-то на тебя не похоже!..

– Не болтун же вроде!..

– Как это, в академии, а не в каком-нибудь борделе, голая девка ходит прямо перед всеми, не стесняясь, а те с нее лепят... Быть не может!

– Да и где можно такую смелую найти, чтобы позировала при всех?

Сергей как мог оправдывался, мол, ничего он не придумал, бил себя в грудь и клялся, а если они, мужики, не верят ему, то пусть дождутся Толика на каникулы, сами у него и спросят. Он им скажет. А куда денется, перед народом не устоит. Перед народом?.. Сергею, правда, не менее интересно было и то, как можно нормальному парню – извините, тьфу-тьфу-тьфу – устоять перед голой красивой девушкой. И будет ли лепиться та глина, холера, когда натурщица перед тобой во всей своей красе, да еще руки на бедрах держит и голову, гляньте вы на нее, откинула назад... и глазами пожирает всех, стрижет... живая ведь... Что делается, люди!

Ай-я-яй!..

Но прошло несколько дней, и Сергею все чаще и чаще вспоминалась не сама поездка в столицу, а та девушка, которая демонстрировала себя перед соседом Толиком в чем мать родила. Натурщица. Стоит и стоит перед глазами. Пора бы уж и забыть. Так нет же – не получается, крутится, юла!.. Хоть ты на нее гаркни: «Кыш с глаз, колдунья! Исчезни!..» И он начинал – а как же! – завидовать соседу Толику, честное слово. И пожалел, что в свое время не любил учить уроки и совсем не знал, что где-то есть академия, в которой учат на скульпторов...

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Когда Егорка хмелел, он резал воздух растопыренными пальцами – справа налево, вниз и вверх – и начинал часто отбивать сапогами, поднимая пыль с земли, а голову держал высоко и гордо, словно на темечке стоял стакан с вином, и он боялся, что расплещет драгоценные капли. Сам же кричал хриплым голосом:

– Танцуй, артель! Не было б мне горько, если бы не звался я Егоркой! Х-ха-ха-ха-а! Гуляй, и-э-эх!

Мужчины, с которыми Егорка только что опрокинул стопку, насмехались, наблюдая за танцором, а когда их напарник, запыхавшись от изнеможения, беспомощно повисал на прилавке, предлагали ему, перемигиваясь, промочить еще горло, не жалели для него красивых слов. Егорка соглашался, ведь сегодня как раз пенсия, деньги имеются, и он без лишних слов бросал искомканные бумажки на весы, был как никогда щедр:

– Для всех. Ы-ы. Для того и цивилизация, что хоть вот пивка попьем, а? Наливай, Степановна. Как можно полнее. Хватит, что сгубил жизнь, можно сказать, в своей глухой Слободе. Не считая армии. Там, говорить нечего, хоть свет повидал, на людей посмотрел и себя показал. Ногу даже окунул в Тихом океане. Как, а? То-то ж!..

Руки мужчин тянулись к бокалам, Егорка добрел: кто вас угощает, мать вашу!.. Знайте и цените, бестолочь и нищета!..

А потом он, заметно шатаясь, шел к дому, падал на кровать и храпел. Закончился еще один день. Жена, остроносая и худошавая, но мягкая и уступчивая Настя, привыкла уже к его пьянкам – в последнее время они обрушились на нее, как проклятие. Одно радовало женщину: когда наберется Егорка, то хоть руку на нее не поднимает. Нет, грешно сказать. Приговаривает лишь: «Только бы тихо, только бы тихо, Настя», – и кувырк на кровать. Другой раз перед тем, как начать храпеть и высвистывать носом, промямлит: «Лишь бы не было войны...»

Здесь, в Довске, Егорка появился два года назад – как только вышел на пенсию, приехал к сестре погостить. Походил, посмотрел, как та живет, и засветились у колхозного пенсионера глаза: «А чем я хуже? Зачем маяться мне в своей Слободе? На какого беса? Тут же, гляньте, одних магазинов сколько, даже ресторан есть, а внизу – и кульдим. А у нас? Автолавка два раза в неделю, во вторник и пятницу... Дурят народ!..»

Вернувшись в Слободу, выложил свой план Насте. Жена выслушала Егорку, вздохнула – выдумаешь тоже! – и молча вышла в сени. Егорка – следом, за плечо развернул – лицом к лицу:

– Так ты что, на мое предложение чихнула?

– Отвяжись. Мелешь лишь бы что. Из ума, вижу, под старость выжил, – и она решительно повернулась, чтобы идти дальше по своим делам.

Однако Егорка заявил вполне серьезно:

– Поеду один!

– Едь. Скатертью дорога.

– Так там же люди живут! А мы тут?.. Кто мы? Хоть... хоть, понимаешь, последнюю каплю счастья – да на язык, а?

– Вот-вот, – с легким упреком закивала Настя. – Тебе, вижу, та капля и понравилась?

– Да не та капля, не та! – сморщился Егорка и притопнул ногой. – У вас, баб, только одно в голове... Капля счастья! Счастья-я-я! А? Мы же будем жить, как люди. Я ведь там и домик присмотрел. С садом. Сад еще побольше, чем у нас. А рядом – как раз напротив – автостанция. Ведерко яблок или груш продал... там и слив полно... и всегда свежая копейка будет. Живая. А с нашей Слободы не повезешь фрукты в Довск – далеко, не близкий свет, больше денег тех проездишь.

Про яблоки Насте понравилось. Но мужу ничего не сказала, начала доить корову, а тот сел на корч рядышком, свернул самокрутку, затянулся, начал рассуждать:

– Я тогда бы и табак не сажал. Милое дело – все, почитай, рядом с твоим домом. А пенсий нам хватит. Еще и детям поможем. Да... да и тем к нам на новое место полегче будет, стало быть, приехать. Из Довска – слышишь меня, Настя? – в любую сторону: хочешь в Одессу, хочешь в Москву, а хочешь... да куда хочешь, туда и катись.

Вдруг Настя спросила:

– А хлев там есть?

Егорка растерялся: вишь ты ее, он ей цивилизацию предлагает, а она не иначе отсталый элемент, хочет тянуть за собой и буренку. Кашлянул в кулак, дипломатично пожурил:

– Хлев есть. Хороший хлев. Блочный. Но зачем он нам? Хватит пенсионерам за соски дергать. Надергались. Поберегите пальцы.

Настя, словно не услышав его слов, тихо произнесла:

– А Звездочку куда поставишь? Под звезды?

– Мать твою, а! – не сдержался все же Егорка, притопнул ногой. – Там же можно купить любую заразу. И кефир, и молоко. На какого черта нам государство пенсии дало? Купим, купим, Настя, все, что надо.

Дом в Слободе Егорка, конечно, не продал: кому он в глуши нужен, когда их вон сколько, людьми и Богом забытых, рядом стоит? Заходи в любой, хороший человек, и живи. Макар или Свирид, которые невдалеке на кладбище почивают, против не будут. Не выгонят и дети, ведь кто знает, где они, те сыновья и дочери, в каких краях? А может, те еще и рады будут: пускай хоть так, бесплатно, чужие люди живут, и то хорошо. А начнешь требовать деньги – только спугнешь людей с места. А их уже однажды погнали... Оттуда, где белое солнце оказалось для славян черным. Натерпелись. Хватило. Да и окна в доме должны светиться. На то и дом.

Загрузив вещи в кузов «газончика», Егорка, как ни сдерживался, все же пустил слезу. Жена использовала этот момент, упрекнула:

– Сам же захотел, так не плачь теперь, бобер!..

– Ага, сам, – покорно кивнул головой Егорка, а потом взял подготовленные заранее доски, забил ими крест-накрест окна. – Не обижайся, дом. Думаешь, мне не жалко тебя покидать, однако же и в цивилизации хочется пожить. Сколько там осталось, а?... А жизнь одна... Вот так-то!..

– Садись уже в машину, плакса, – дернула за рукав жена. – Он с домом прощается. Видели? Да ты не с домом – ты с жизнью, чует мое сердце, прощаешься... Боже, и куда ж ты меня, дурную бабу, тянешь? – и Настя затряслась вся, словно ее пронзило электрическим током, из глаз покатились слезы. – Ой, не могу, люди мои милые! Елупня послушалась своего. Нет бы спросить – зачем, зачем?..

Теперь уже ее торопил Егорка:

– Хватит, хватит, пора. Шофер матерится уже: у него, думаешь, кроме нас, других дел нет?

Вскоре в сторону Егоркиного дома толстой веревкой полыхнул дым из выхлопной трубы, и постороннему человеку могло даже показаться, что он, дом, заслонился от гари досками, что были на окнах, словно человек руками...

Жил в Слободе Егорка скромно. На свои не пил. И смешно было бы – на свои: бригадир как-никак. Да особенно и не налегал на нее, холеру. А зарабатывал копейку неплохую, поэтому Насте было что топтать в чулок. Дом в Довске купили без потуг. И хороший дом, как и говорил Егорка, около автостанции. Вот он, напротив. Сиди на скамейке, наблюдай, как подъезжают и отъезжают автобусы самых разных марок, как выходят-заходят люди. А хочешь, иди в магазин. Колбаса любая, копченая рыба, булки-шмулки. А пиво? И оно, сердечное, имеется!.. Вина нальют, не запрещено. Водочки тоже. Красота! Егорка не раз вспоминал соседа по Слободе

Петра, жалел его: «Не живет, а чихает. Глянул бы на меня!» Егорка предлагал Петру также податься вслед за ним, но тот лишь улыбнулся и показал печальным взглядом на кладбище:

– Туда мне уже пора переезжать.

Напрасно, напрасно, сосед. А я поеду, едрена вошь! Там, глядишь, и больше протяну. А ты загибайся тут, на болоте, непослушный!..

Почти ежедневно теперь Егорка налегал на пиво – наверстывал упущенное, как он сам считал. Частенько, подвыпив, швырял деньги на прилавок:

– Еще три бокала, Степановна. Угощу, так и быть, вон тех мужиков. Я, сколько и живу, люблю гостей встречать. А они, вижу, гости. Приезжие. Деревня. Пусть отведают цивилизации, пусть вдохнут ее, мать их так!..

Мужчины пили, что им. Халява всегда сладка. Случалось, что и Егорку угощали. В ответ. Тогда он вспоминал Слободу, Петра, закусывал губу: жалко становилось и деревушки, и соседа, не мог сдержать слез.

А Петро как-то приехал. Нежданно-негаданно. Утречком. Егорка спал. Постучал в калитку. Настя увидела соседа в окно, стала будить мужа:

– Вставай, ирод. Петро приехал. Слышишь? Поднимайся, говорю!..

Кое-как Егорка дотопал до калитки. Когда протянул Петру руку, та заметно тряслась, как ни старался ее унять. Лицо было похоже на печеное яблоко. Небрит. Поэтому Петру было от чего разинуть рот – как не до ушей. Он крякнул, сказал сухо и холодно:

– Еле узнал я тебя, земляк. То я домой поеду. В Слободу. Подальше, Егор, от твоей цивилизации...

И плюнул.

– Почему же так? – удивился Егорка. – Почему ж?.. Заходи, заходи, сосед. Настя сейчас на стол соберет, а я в магазин... в гастроном... вон они, магазины... на любой вкус... Хочешь – водочки, хочешь – винцо или пиво?.. Я пенсию вчера получил... Ты... ты чего это, Петро-о-о? Как не свой все равно?! Ты куда, Петро-о-о!?

Петро, не оглядываясь, заторопился в сторону автостанции. Егорка же никак не мог понять, почему он, непутевый, так поступил. И, стоя у калитки, еще долго ломал голову: за что бы тот мог на него обидеться?..

ГАННА И МАВЗОЛЕЙ

Тетка Ганна женщина была красивая. Высокая, с длинной черной косой, лицо смуглое, будто все время на нем держался крымский загар, и стройная, подвижная. И очень уж на слово остра. Иной раз так отчихвостит кого словечком, что хоть сквозь землю от стыда. А она лишь усмехается: что, правда глаза режет?.. Мужик, говорят, поэтому и сбежал от нее, из-за слов тех. Давно было, люди в лицо даже не помнят того первого и последнего Ганниного мужика. Дети остались от него, одна их и поднимала. А после войны не передать, как трудно было. Голодно и холодно. Еще больше во время оккупации натерпелась-нагоревалась. Сердце, казалось, выше пяток не поднималось. Как рак под корч, пряталась в тот блиндаж, дрожала-трепетала там, ведь наверху и пули летали-свистели, и снаряды разрывались почти на самом огороде, и с неба бросали на поселок бомбы. Выжила как-то. И сама, и дети. А что толку? Ганна не раз думала, отчаявшись, будто бы жизнь свою перелистывала, взвешивала, на ладони держала: ну и скажите вы, люди добрые, какая польза мне от своих детей, чтоб им?!. Нечего и вспомнить. Хорошего. Пустое место. Дочь еще кое-как, а что про сына говорить? Чужой человек, бывает, тебе встретится лучше во сто крат, чем своя кровинушка. Ганна скрывала, утаивала многое про Кольку, не признавалась людям, как он издевался. Однажды, правда, в доме для престарелых, незадолго до смерти, пожаловалась старушкам, таким же горемычным, как и сама, что куска хлеба жалел для матери. Пропьет деньги, есть нечего, только краюха хлеба лежит на столе. Обычно черствого, ведь когда пьет, то ест мало. А пьет каждый день. Ганна не дотрагивалась, Боже упаси, до того хлеба: ела отдельно, так сын постановил. Отдельно так отдельно, неизвестно еще, кому хуже. Но, выходя из дома похмеляться, злой на мать, что не приберегла денег полечить ему голову, Колька смотрел на тот хлеб и шипел: «Чтобы к хлебу, б... старая, и пальцем не притрагивалась! Мой!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.